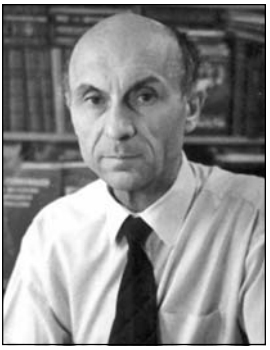

Виктор Викторович Будаков *родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева, премии журнала «Подъём» «Родная речь» и др. Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор ВГПУ. Заслуженный работник культуры РФ. Автор более 30 книг прозы и поэзии, 10-томного собрания сочинений. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.*

Виктор Будаков

ИМЕНА

Эссе

КНИГИ ВЕЧНОСТИ И КНИГИ СУЕТЫ

В бессонную ночь вдруг стали вспоминаться прочитанные или пролистанные книги. Причем великие книги человечества — древнеиндийские, древнекитайские, античные, Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, русская классическая литература XIX века — прошествовали державным строем и скрылись в туманах вечности. А вот книги, которые не стоило брать в руки, — книги моды, книги злобы — злобы дня, мелкие по смыслу и художественному воплощению, сотнями, как живые, теснились перед глазами и не собирались уходить, словно дразня: «Думаешь, мы случайные забегальцы в твою жизнь? Да мы бессмертные во все века! Много чистокнижников, прочитав что-нибудь из подобного нам, сетовало: на что время потрачено?! Но знай, никуда от нас не деться».

До полуночи лежишь с открытыми глазами, среди наплыва разного сокрушаясь и тому, сколь много времени отдано на ненужные страницы, и пытаясь убедить себя: «Разве ненужные? Разве не плохие книги исподволь подвигают нас к достойной жизни? Отталкиваясь от дурного, приходим к разумному».

БУДДА И «ДХАММАПАДА»

В юности нельзя было не увлечься человеком великим, звучание имени которого напоминало звучание твоей фамилии. Но насколько это было внешнее, поверхностное восприятие им изреченных и переданных в «Дхаммападе» изречений и духовно-физических состояний! К тому же сама суть его учения, его нирвана, отрешенность от суеты, медиативное сосредоточение шли в резкий контраст с беспокойными ритмами юности, жаждой беспрерывных движений. «И вечный бой! Покой нам только снится...» — Блок твоим сверстникам был понятнее и созвучнее, нежели Будда. Цепь посмертных, иномирных перерождений? Да, нам, счастливо рожденным на белый свет, достаточно было многообразно прожить эту жизнь, каждый год, каждый день заново рождаясь.

Но ближе к старости, испытав магию многих откровений человечества, вольно-невольно тянешься прочитать притчи, изречения и поучения великих, разумеется, и Будды. И невольно тебя пленяет образ царевича Гаутамы, блистательного принца, ушедшего из царского дома (а там и возможность обильных развлечений, и женитьба на красавице знатного рода, и рождение сына); ушедшего и ставшего проповедовать среди простых бесчисленных и безвестных мира сего. Он прожил восемьдесят лет, перед смертью обратясь к своим последователям — монахам и мирянам: «Теперь, о монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что все возникшее обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению!»

ПЕРСИДСКИЙ ЦАРЬ, ИРАНСКИЙ ШАХ, ВСЕМИРНЫЕ ПОЭТЫ

Среди легенд — якобы персидский царь Дарий, воюя со скифами, преследуя их, дотянулся со своим войском, в котором были слоны, аж до Дона в верхнем его течении; и здесь, близ нынешнего Воронежа, выпала битва, и много погибло слонов, поле битвы было усеяно костями слонов. А тысячелетия спустя, здесь, неподалеку от Воронежа, в полусотне километров, образовались Костенки — жемчужина палеолита.

Добирался ли до здешних мест Дарий или нет — едва ли теперь прояснится; но вот — пройдут века и тысячелетия — в Воронеже доподлинно побывает последний иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви с красавицей женой Фарах. Трудно в точности сказать, чем его заинтересовал именно наш город, но в точности персидский язык фарси в Воронеже звучал.

Это мимолетное пребывание отозвалось во мне обширными раздумьями о могущественной древней Персии и медленном ее угасании, о средневековом и новом Иране, даже о нашем, корнями из Воронежа, атамане Степане Разине, который, прости Господи, бросил в волны Каспийского моря плененную персидскую княжну, о прикаспийском, противоперсидском походе Петра Первого, убийстве русского посла поэта Грибоедова, о Тегеранской конференции на пике Второй мировой войны...

В привычном общественном мнении, сформированном еще мнением античнодревним, победившим, Персия — сатрапия. Но только ли? Да и понятие «сатрапия» — не метафорическое ли позднейшее искажение сути былого? Не вернее ли — она подрубленная ветвь на мировом древе с до конца не понятыми историческими, философскими, поэтическими ее проявлениями?

Заратустра, «Авеста», европейский философский отклик — «Так говорил Заратустра»... Поэтические волны фарси — Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Саади, Хафиз, Джами...

ТОЛПЕ ПРОТИВОСТОЯЩИЕ

Степень своего отношения к толпе Аристофан, сатирик античности, выразил высоким лексическим слогом, смысл которого беспощадно ясен: «Толпа достойна умереть, прежде чем она родилась». Но, как показали века, именно толпа более остального бессмертна. В годины смирные — она дремлющая. В годины потрясений — она буйная. Чернь, охлократия, слепая замороченная масса...

Русский поэт Некрасов, какие столетия спустя после древнегреческого сатирика, отчаянно обратится к среде, в которой буйствует толпа: «Зачем меня на части, рвете, / клеймите именем раба?... / Я от костей твоих и плоти, / Остервенелая толпа».

Слышать толпу. Прийти в толпу. Слиться с толпой. Противостоять толпе. В час смуты — погибнуть, пытаясь преградить натиск-навал толпы. Последнее — подвиг!

ВЕРГИЛИЙ — ПОВОДЫРЬ ДАНТЕ

Именно Вергилия, величавого римского поэта, берет в поводыри Данте, погружаясь в круги ада в своей «Комедии» — «Божественной комедии». Впрочем, и в земной жизни он поводырь многих — не только поэтов. Его «Георгики» — своеобразная энциклопедия сельского хозяйства, и пахари, виноградари, пчеловоды и скотоводы могли найти здесь массу необходимых познаний и советов, даже не вслушиваясь в совершенство стихов. А его «Энеида» — своеобразный гимн римской родине, она заставляла радостно биться сердце любого увлеченного патриота как Римской империи, так и будущей Италии.

Простой люд Неаполя уже при жизни слагает о нем легенды: не самый великий император, а самый великий поэт, то есть Вергилий, спасает город Неаполь от нечисти — мух, комаров, пиявок и змей, прогоняет цикад с их мешающим спать ночным «грубым пением», он даже чудесным образом... затыкает грозящий извержением кратер Везувия.

Мифы, мифы, мифы...

ЛИ БО, ДУ ФУ...

Двумя вышеназванными именами классическая китайская поэзия, разумеется, не исчерпывается. Один только восьмой век, в котором жили и творили Ли Бо и Ду Фу, — поистине роскошная оранжерея: Ван Вэй, Мэн Хао-жань, Гао Ши, Бо Цзюй-и, Цен Цань... Отечественному уху сами эти имена мало что говорят, а между тем за каждым из них — мысль и чувство, душа и дух китайского народа. Можем рассуждать, дескать, подвигала к поэтическому сама тогдашняя китайская реальность: государственный карьерный рост от будущих чиновников на экзаменах требовал умения писать стихи. Но умение писать стихи и быть по природе истинным поэтом — это, конечно же, разное.

«Бессмертные пьяницы», как Ли Бо и Ду Фу сами себя именовали, конечно же, не пристрастием к зелено-змийным напиткам остались в памяти человечества. Неповторимое, тончайшее чувствование души природы и слитность с нею, созерцание и воспевание природы у Ли Бо и Ду Фу тематически — не единственное: в их строках воины побеждают и терпят поражение, подрастают дети и угасают старики, в тягостных трудах длится жизнь простого народа. Потрясающие «Стихи о женщинах, собирающих хворост», за двенадцать столетий предвосхищают столь же потрясающие стихи Некрасова, Тютчева и Шевченко о славянских женщинах. Мир един, но разделение в нем человечества на овец и

козлищ, сытых и голодающих, гонителей и гонимых продлится, видно, до скончания века и видно, усугубляясь, при внешне толерантных, обманчивых формах. К невинному угнетению вином за века добавилась масса искушений, соблазнов, свобод и насилий. «Опиумная война», подавление объединенными европейскими силами «Боксерского» восстания в Пекине — постыдные проявления силы и торгашеского духа континентальной Европы и островных англичан. А мир един...

ФРАНЧЕСКО ПЕТРАРКА — ЧЕРЕЗ ВЕКА

Петрарка. Далекое послестуденческое прочтение. И хотя — в переводе (а помнится, св. Иероним сказал, что и самый красноречивый поэт в переводе становится заикой), но красоту слога и силу чувства Петрарки чувствуешь и видишь с первых строк. Иногда — дивные строки. Гуманист? Разумеется. Но вот из его завещания: «Только тот свободен, кто умер; могила — скала, неприступная для каких бы то ни было прихотей судьбы. Это написал я, Франческо Петрарка; я составил бы иное завещание, если бы был таким богатым, каким считает меня безумное простонародье». Раздражение и неприязнь не к отдельному человеку, а целиком к «безумному простонародью» — родному, итальянскому, европейскому. Походя и наотмашь. Что тогда говорить об иных народах?

Поэт Юрий Кузнецов привел пространное, едва ли не больше его сильного и резкого стиха, восприятие-размышление Петрарки из письма архиепископу Генуи, в котором прославленный гуманист и поэт сокрушается, видя, как Венецию — «прекраснейший город»... «нескончаемая вереница подневольного люда того и другого пола омрачает... скифскими чертами лица и беспорядочным разбродом, словно мутный поток чистейшую реку...»

Наверное, родственный потомок Петрарки, через века на берегах «скифского» Дона испытавший не только ужас своего как захватчика разгрома, но и славянские сострадание и милосердие, не успел послать импульсы прозревшей души своему прославленному предку? Или тому уже снилось нынешнее полонение Италии и Европы, но не «скифами» омрачаемых, а и Ближним Востоком, и Африкой?

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

«Та же с Нерчи-реки паки назад возвратилися к Русь. Пять недель по лду голому ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошедми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет да и повалится... «Долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя до смерти».

Среди великого материка литературы Древней Руси, столь обильной житиями, сказаниями, повестями, стихами, посланиями и челобитными, «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» возникает, словно мощный утес, словно кряж, прочностью камню подобный; и кажется немыслимым, как человеку дано выдержать крестный путь от Москвы до глубинной Сибири, вернуться, быть снова сосланным царевой властью в северный Пустозерск, пробыть годы в земляной темнице, сгореть на приговорном костре... Великая сила духа, великая любовь, великая вера даны были Аввакуму. Настолько неповторимы он и его житие, что Достоевский «Житие протопопа Аввакума» (наряду с творениями Пушкина!) считал невозможным переводить на европейские языки.

«...Чтущие и слушащии, не позрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хощет».

Но куда уходила непокорная мощь старообрядчества? Сколько чувства, ума, таланта сгорало в густом пламени непокорства! Только недавно, века спустя, состоялось воссоединение православия: церкви Московского патриархата, русской зарубежной церкви, и замирение с ними — старообрядческой.

ПОМОРСКИЙ КРАЙ И ВСЕЛЕННАЯ

Слово «первый» вне ошибки множество раз можно употребить применительно к такому явлению, как Ломоносов. Безусловное — дважды: Ломоносов — первый из русских, кто, испытав заграничной Европы, еще более, чем в юности, почувствовал неповторимое значение России и свершил бесконечно многое во благо и славу ее науки, культуры, родного слова; и первый из русских, кто поэтически и научно заглянул в бездны Вселенной («Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна...»)

Около полувека назад, побывав на родине Ломоносова, автор этих строк доверил записной книжке нахлынувшее впечатление: «Родной край Ломоносова — много воды и неба. Курополка, Северная Двина, Белое море, наконец, Ледовитый океан. С этого клочка земли первый его интерес к окрестному. К человеку. К родине. К Вселенной. Разве не здесь волшебно и таинственно струились пазори — сполохи северного сияния? Разве не здесь впервые, еще неотчетливо, задался он вопросами, годы спустя повторенными в «Вечернем размышлении»: «Как молния без грозных туч / Стремится от земли в зенит?» Не с этого ли косогора, откуда забирала неисходимая и неизмеримая даль земли и неба, мир предстал ему бесконечным и звал в бесконечность?

Вдали, в тающей дымке чуть сиреневой, чуть пепельной белой ночи, — расплывчатый силуэт Холмогорского храма. Этот храм видел он. Эти воды, острова. Птиц, несметными стаями отдыхавших по весне; когда враз поднимались, раздавался тугой оглушающий звук, будто из пушки палили. Этот край, что б там ни было, светил ему в детстве. И вдалеке, надо думать, тоже светил. Тогда еще не было столь распространенного в нашем веке ностальгического слова-плача по родной стороне. О том говорят и сокрушаются, когда теряют. А его край оставался с ним. Но и мир — тоже! И Вселенная!»

Едва не через полвека возвращаясь на малую родину Ломоносова, думаю, что тогда нахлынувшее на меня впечатление не было ложным.

ИСТОРИЯ НЕ РОМАН

Мне выпало видеть два памятника Николаю Михайловичу Карамзину. Один — на его родине — в Симбирской губернии, другой — в подмосковной усадьбе Остафьево. По справедливости, их могло быть куда больше, но будь и сто их, они бы не могли совокупно сравниться с тем зримо-незримым величавым памятником, какой есть «История государства Российского», «Письма русского путешественника», «Бедная Лиза»», трактат-записка «О древней и новой России», наконец, его буква Ё.

«История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно...» — сказал он, самый, может быть, проницательный и благородный историк нашего Отечества, и сказанное не только лапидарно объясняет смысл истории всемирной, но и дает некий ключ историкам разных стран к постижению истории как таковой.

Но должно ли было Карамзину проехать Западную Европу, увидеть жестокие следы французской революции, встречаться с Гете, чтобы во всей глубине увидеть ход отечественной и мировой истории?

ГЕТЕ О СЕБЕ

Гете в восемьдесят два года, незадолго до смерти, когда мысль, благодаря движению пережитого, обретает свою окончательность, в беседе с женевским ученым-естествоиспытателем Фредериком Соре (а не забудем, что великий немецкий поэт считал, что он более значим, как естествоиспытатель, нежели поэт) сказал следующее: «Величайший гений не пошел бы далеко, если бы посмел добывать все из собственной почвы... Кто я? Что я создал? Я воспринял и усвоил все то, что только слышал и наблюдал». (А пережитое своим сердцем и другими, чье переживание настоящий поэт сполна принимает в свое сердце? — спросит читатель). Поэт продолжил: «Мои труды насыщались тысячей существ, глупцов и мудрецов, светлых голов и дураков. Часто я пожинал, что сеяли другие. Мое произведение — это труд коллективного существа, и оно носит имя Гете».

Но коллективное существо, множество существ — это же Традиция, однажды бывшая новаторской! И так бы могли сказать о себе тысячи выдающихся творцов. То есть, сколь ни неожиданно новаторство, оно — видимо иль невидимо — восходит к опыту индивидуальному, соборному, национальному, всемировому.

СОЛНЦЕ И СУМРАК-ОДИНОЧЕСТВО

Славянский философ Григорий Сковорода увещевал: «Не ищи счастья за морем, не проси его у человека, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай на шаре земном, не броди по Иерусалимам. Воздух и солнце всегда с тобой». Почти два века спустя нечто подобное излагает Йозеф Кафка: «Нет необходимости выходить из дома. Оставайся со своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся — жди. Даже не жди — будь неподвижен и одинок, и мир откроется тебе, он не может иначе». Еще позже — Эжен Ионеско: «Одиночество и особенно тревога характеризуют основные условия существования человека».

Есть нечто общее у названных писателей-философов, но у Сковороды, бродячего философа, все-таки — солнце над головой, и одинокий, он стремится в мир, а у Кафки и Ионеско — стена, замкнутое пространство одиночества, и сумрак, переходящий во мрак.

РУССКИЕ ДУША И СЛОВО

На Ваганьковом кладбище, у могилы Владимира Ивановича Даля, под тяжелой густолиственной кроной долго пребывал я в естественной скорби и в многоречивых, теснящих друг друга думах. Вот датчанин, иностранец, а он — из самых что ни на есть русских, ибо его сердце, вложенное в его страницы, его дела по собиранию сокровищ русского языка, русской песни и пословицы, являют неоспоримое тяготение к русскому духу и слову и деятельное их укрепление.

Уже в конце жизни Даль, давно подданный великой империи, принявший православие, сказал: «Ни призвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежащим к той или иной народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или иному народу... Кто на каком языке думает, тот тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

В Лугани (нынешнем Луганске, центре области, сограничной Воронежской), где Даль-отец как врач оставил о себе добрую память, в Лугани и родился бу-

дущий писатель, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Иванович Даль. Родился в счастливой семье для его будущих занятий: и отец, и мать знали по нескольку языков, даже древних, а дома говорили по-русски. И сыздетства старший сын стал тянуться к сокровищам русского языка.

Когда началась очередная русско-турецкая война, армии потребовались врачи, и Даль незамедлительно прибыл к Дунаю. А далее — бои, походный госпиталь, кровь, победные осады и штурмы, сражения и переходы. Вскоре русские войска подступили к Константинополю. Даль быстро и хорошо справлялся как лекарь, а еще — жадно вслушивался в речь русского народа: шестьдесят губерний и областей Российской империи выставили своих воинов, и говор каждого, слово каждого — и музыка, и солнышко, и снег, и дождь, — как выдох души человеческой.

Под конец войны приключилось невероятное и... радостное. В военной суматохе затерялся верблюд с тюками, наполненными записями слов и пословиц, областных речений и выражений. «Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси, — вспоминает Даль, — доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с... записками и через неделю привели его в Адрианополь». Разумеется, спасибо, туркам, которые не сожгли записи, спасибо казакам, которые отбили верблюда у неприятеля, но здесь мы видим самое главное: Даль настолько был пленен стихией русской народной речи от океана и до океана, настолько прикипел к собирательству и осмыслению языковых сокровищ в любых условиях войны и мира, что даже и случись утрата «верблюжьих запасов-драгоценностей», он бы не оставил любимой страды собирательства.

Волею судеб Даль оказался у предсмертного изголовья Пушкина, часами неотлучно находился у постели умирающего, и именно ему, Далю, поэт сказал загадочное, необъяснимо-мистическое «Пойдем!..»

И НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ — ПУШКИН

Еще с древних времен китайцам стало ясно: великий человек — всегда народное бедствие. Если речь о военных, государственных, политических деятелях — то действительно так. Сразу возникает необозримый ряд их — из разных племен, народов, стран. Аттила, Цезарь, Тамерлан, Петр Первый, Наполеон...

А стяжатели на поприще культуры, литературы, искусства? Не говоря уже про мелких бесов в писательстве, музыке, живописи, о коих наш современник-поэт сказал, что «нетопырю даются крылья, болоту лилии даны», во все времена вызревают и подчас забирают человечество в плен художественные голиафы гибели, титаны дьяволиады, служители содома и гоморры — глобального сатанизма.

Но Пушкин — русская и мировая истина. Красота. Справедливость. И честь, достоинство. И великодушие. Не только, как выразился Белинский, «гений европейский, слава всемирная», но и «лелеющая душу гуманность».

ПЯТНА НА СОЛНЦЕ

Наверное, Пушкин, Тютчев, Достоевский знавали недоброе, наверное, и на их биографии есть пятнышки-пятна, как и на солнце. Но что мне за дело до пятен, я читаю их строки, и они мне открывают высоты света небесного и бездны мрака инфернального. И главное в них: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

ЦИТАТА

Великий поэт, равнодушный к своему творчеству... кто он? Тютчев — дипломат, философ, пророк, равный Достоевскому, патриот, космист, наш современник, современник вечности? Всего лишь несколько строк, одна цитата из его историософской статьи «Россия и революция» 1848 года:

«И когда еще призвание России было более ясным и очевидным! Можно сказать, что Господь начертал огненными стрелами на помраченных от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...

И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?..»

С ХОЛМА РОДНОГО ОБОЗРЕТЬ ВЕСЬ МИР

Сколько помнится, у английского поэта Блейка есть — «зажать в ладонях бесконечность». Поэтично? Эффектно? Грубо? Смехотворно? Лучше и вернее — увидеть в капле океан, с холма родного обозреть весь мир, у отчего порога почувствовать дыхание Вселенной.

ГОГОЛЬ, БЕЛИНСКИЙ И ОТЕЧЕСТВО

Никогда я не мог принять грубое «Письмо Белинского к Гоголю» (еще и не зная, что не приняли его и Тютчев, и славянофилы, и Блок); но, не говоря уже о великом вкладе Белинского в осознание русским обществом значения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, первооткрытии им Гончарова, Тургенева, Достоевского, всегда радовался «почвенническим» тяготениям его сердца, очевидным в его высказываниях о русских березах, пересаженных на итальянскую почву и там усыхающих; или же в таком высказывании: «Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные связи с Отечеством».

НАРОД В ТЮРЬМЕ

«Заметки о погибшем народе» — так сам Достоевский назвал свои «Записки из Мертвого дома». «Ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ изо всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно». И хотя в самом начале «Записок» есть строки, могшие напрячь и либералов, и революционеров («Вообще в Сибири, несмотря на холод, служить чрезвычайно тепло. Люди живут простые, нелиберальные: порядки старые, крепкие, веками освященные»), но даже либеральный Тургенев находил в «Записках...» картину «дантовскую», даже революционный Герцен видел в повествовании «фрески в духе Буонарроти». Ничего подобного «Запискам из Мертвого дома» ни русская, ни мировая литература не знали, хотя подобное поведанному о тюрьме века девятнадцатого знавали и другие века; и сколько разноплеменного народу через тюрьмы, че-

рез страшные кровы отверженных прошли за эти века — и до, и после Мертвого дома!

Один двадцатый век, в одном только Союзе — Снесарев, Флоренский, Вавилов, Чаянов, Мандельштам, Лосев, Русланова, Волков, Солженицын, Шаламов... Известные имена.

А неизвестные — их не сосчитать и не назвать? А и они — вселенные. А виновность или невиновность их окончательно рассудит Суд Вышний, Горний.

ТРИ ВЕЛИКИХ ПИСАТЕЛЯ

Отношения Тургенева и Достоевского. В «Братьях Карамазовых» экзальтированная госпожа Хохлакова восклицает: «Я выздоровела. Довольно. Как говорит Тургенев». Ядовито, хлестко. Право же, Тургенев говорил и кое-что позначительнее. Но и автор «Записок охотника» называл Достоевского «Маркизом де Садом русской литературы», словно пытаясь этой формулой исчерпать для европейского читателя необъятность творческого мира Достоевского, видевшего и горний свет, и жерло ада.

В известной мере успокаивают отношения Достоевского и Толстого. Автор «Войны и мира» не только говаривал (повторял, помнится, Ипполита Тэна слова), что за одну страницу Достоевского он бы променял все писания французских романистов, он после смерти Достоевского называл его самым родным и близким, именно последний великий роман Достоевского он читал в ночь перед уходом из Ясной Поляны.

НЕ ПОЖЕЛАЛ ГЛЯДЕТЬ НА ВЕЗУВИЙ...

Об Афанасии Фете, как и о всяком истинно талантливом человеке, столько наговорено всякой всячины, столько стрел-ехидн выпущено! И даже — не только из разночинно-демократического лагеря. Вот благовоспитанный Боткин рассказывает о нем: «Вы удивляетесь бесчувственности нашего певца природы? Когда сей бородатый муж приехал в Неаполь, я снял ему комнату с видом на Неаполитанский залив и Везувий. И что вы думали? Он завесил окно плотной шторой и ни разу не отодвинул ее».

Звучит — как инвектива. А, право, здесь существует целая дюжина «может» или «может быть». Может, поэт пребывал под сильнейшим обаянием срединнорусского поля и не хотел жившее в нем впечатление-воспоминание разбавлять чужими красотами чужого залива? Может, он хотел отгородиться от Везувия — с античного часа вулкана-убийцы? Может, вдруг привиделась сгоревшая в пламени огня возлюбленная Мария Лазич? Может, ему почудился тот огонь, что «просиял над целым мирозданьем»?

СЛОВО — ОРУЖИЕ?

«Оружие свободных людей — свободное слово!» — сказал, помнится, Константин, из славной семьи Аксаковых. Свободное, но не распоясавшееся. Грустно, что оно — «оружие», если только высказывание соответствует исторической истине. Когда слово зовет на баррикады, в метафорические побоища, игорные, публичные дома, в ослепительный мрак, в обман, ложь, вседозволенность — избави нас Боже от такого свободного слова! О слове, его силе и слабости, его красоте и безобразии сказаны миллионы слов, но, видимо, истинней всего евангельское: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

КРАСНЫЙ МАК

Больному человеку кажется, что все зло мира (все войны, кровь, слезы человечества) — в красных маках, растущих в больничном дворе. «Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел, как смерть, и в ужасе широко раскрыл глаза...»

Когда заходит речь о Гаршине... Будто бы он на днепровском мосту увидел девушку, отчаявшуюся жить, готовую броситься с моста, и остановил ее, и сказал ей что-то сокровенное — такое, что она ушла, успокоенная, в долгую жизнь. Гаршин через полгода выбросил себя в пролет лестницы, как самоубойно ушли его старшие братья, как ушли в незнаемые живыми края тысячи и тысячи известных и безвестных.

А мак стал действительно убийцей-наркотиком, бедствием земли. Мак скорби? Но и мак радости, коль по весне — европейские красные маки Сопротивления?

«ПЕТР ПЕРВЫЙ»

Неизвестно, что бы еще сказал Лев Толстой о романе своего однофамильца Алексея Толстого «Петр Первый». Автор «Войны и мира» тоже намеревался написать роман из эпохи Петра Первого, но — приводит его слова близкий ему воронежец Русанов — «я не мог написать, потому что она, эпоха, слишком отдалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас». Однако разумная эта требовательность к себе не есть ли заблуждение: сколько достаточно крепких писателей ныряли и в более ранние временные глубины?! Чапыгин — «Степан Разин», Ян (Янчевецкий) — «Чингис-хан», Кораблинов — «Крещение Аполлона», Иванов — «Русь изначальная».

А Петр Первый, увлекший даже Пушкина, естественно будет притягивать к себе и поэтов, и политиков, и государственных мужей. Сервилистские перья в недавнем реформаторе, главгоспьянице — первом российском президенте тщились обнаружить черты Петра Первого.

Глядя на сегодняшную жизнь, до сих пор не оправившуюся от ельцинско-семейного ломоустроения, невольно вспоминаю слова моего старшего сына об этом «гаранте», поразительно точные, жаль, не записанные.

ОСТРОВОК В ВОСТОЧНОМ ОКЕАНЕ

Среди стран, где мне хотелось побывать, в первом десятке — Япония. И хотел я увидеть Японию, прежде всего, светло печалясь по одному человеку — прекрасному поэту Исикаве Такубоку, покинувшему наш мир в юношеском, лермонтовском возрасте, но смогшему сказать этому миру нечто сокровенное. Кроме, может быть, революционных упований и заблуждений, все мне в нем дорого: и его, крестьянского сына, любовь к родной деревне, и романтическое восприятие мира, и надежда на «зарю неистребимой жизни», и мужественная любовь к России, ее литературе, ее великим именам в те времена, когда Япония и Россия пребывали во взаимной войне и ненависти. Я хотел бы побывать в его родной древне Сибутами, постоять у памятника на морском побережье острова Хоккайдо, перечитать — уже на памятнике — слова, невыразимо поэтичные и трогательные даже в переводе: «На северном берегу, / Где ветер, дыша прибоем, / Летит над грядою дюн, / Цветешь ли ты, как бывало, / Шиповник, и в этом году?»; и снова вспомнить дивно-неповторимую начальную танку из книги пятистиший «Горсть песка»: «На

песчаном белом берегу / Островка / В Восточном океане / Я, не отирая влажных глаз, / С маленьким играю крабом».

«Те, которых мне не забыть»...

НИВЫ ЖИЗНИ И КАФЕДРАЛЬНЫЕ НИВЫ

Дела твои, Господи! Точнее, дела наши, люди! Михаил Бахтин, глубокий ученый, серьезный мыслитель, был всего лишь кандидат наук. Сколькими урядными, бесцветными докторами наук и даже академиками засеяна современная кафедральная нива, а настоящий ученый — вне должных быть званий, и даже вне столичной среды (исследователь отечественного литературного мира Вадим Кожинов все же добился того, чтобы он был переведен из Саранска в Москву) — вынужден был обретаться и вне широкой научной среды.

ЖРЕБИИ И СРОКИ

Считается, что большие цели предопределяют человеческое долголетие. Последний, по-настоящему великий русский мыслитель Алексей Лосев дожил до глубокой старости, пока не завершил фундаментальный, многих десятилетий труд «История античной эстетики». А испытал он многое, также и — Соловки. С Флоренским, Вавиловым, Чаяновым «Соловки» обошлись куда беспощадней.

СОЗДАТЬ МИР БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЙ

Рэй Бредбери в подтверждение своей мысли посчитал возможным призвать имя литературного персонажа из приключенческого романа: «Все мы подобны капитану Немо. Ему не нравилось, как устроен наш мир, поэтому, вместо того, чтобы его разрушить, он создает такой мир, какой нужен ему». Или родственное наблюдение-соображение из глубин древности: «Не нравится тебе искривленная линия (дорога)? Проведи рядом более совершенную!» Каждый художник пытается провести такую линию, выстроить параллельный мир — более приманчивый? Эгоистичный? Только для себя? Или добродетельный? Радующий других?

Мой словесный мир, существующий в мысли, картине и мелодии: с родного холма чувствовать и видеть необозримую Вселенную.

ОДИНОКИЕ ЛИСТЬЯ НА ОДИНОКОЙ ДОРОГЕ

«...И их, бурые и зеленые листья, юности ветер уносит по одинокой дороге. Пусть исчезнут они, танцуя», — это об осенних листьях пишет Шервуд Андерсен. Американец, а как-то по-русски. Запойное его прочтение, три ночи подряд читал-перечитывал, чем объяснить? Есть в этих строках что-то по-декадентски прощальное с жизнью.

ПУСТЬ ПРОЧТЕТ ХОТЯ БЫ ОДИН ЧЕЛОВЕК

Томас Вулф — сильный американский писатель — трагичен, народен, в чем-то хорошем — он русский. Да и фигура Френсиса Фицджеральда — автора грустного «Великого Гетсби» — столь же трагическая, как и автора романа «Взгляни на дом свой, ангел». И этот ранний уход из жизни обоих. Есть в Америке совесть,

честь и стыд, запечатленные в страницах не только вышеназванных авторов. Но много ли знаем о них? О них — близких, и все же географически далеких, заокеанских? Пушкина, Достоевского, Толстого скоро перестанем читать. А на смену накатывает предельно упрощенное для души и тела.

А Томас Вулф, заявил — как жил: «Кто-то, надо полагать, пишет ради денег... Многие из нас пишут ради славы. Наверное, мы продолжали бы писать, если бы знали, что сочиненное нами прочтут два или три человека».

Ради денег? Пусть не каждый помнит всеобъемлющую оценку денег Аристотелем, дескать, «деньги бесплодны по своей сущности», но каждый, восходя или падая при силе их, понимает, что это так. Ради славы? Всегда, приближаясь к славе, отдаляешься от Бога. А вот ради того, что бы твои строки прочитала хотя бы одна душа в мире, — это так!

Однажды позвонила молодая женщина (как в начале разговора выяснилось, прикованная к постели) и сказала, что мое «Молчание», помогает ей жить, хранится у нее под подушкой и перечитывается. И это признание было для меня важнее множества научных и литературных положительных статей, рецензий, откликов на мои книги.

УХОДЯЩИЕ БИБЛИОТЕКИ?

Эпизод в конце века двадцатого, из ряда вон выходящий, в стиле революционного отношения к книге, к библиотеке, к классике.

Встретясь в редакции «Комсомольской правды» с земляком Василием Михайловичем Песковым, автором «Отечества» и многих книг, в которых увиден и запечатлен едва не весь земной шар, поговорив о разном, мы, естественно, не могли не вернуться словом в родной край. Вспомнили «черноземные» имена. Сошлись в мысли, что мало кто изобразил родной край так глубоко, поэтично и трагично, как Бунин, и условились по лету встретиться в обители бунинских детства и юности, в орловско-липецком подстепье.

Расставаясь в длинном редакционном коридоре, у лифта увидели тележки с бумажными мешками, доверху набитыми книгами. «Библиотеку сплавляем на свалку. Избавляемся от старья», — ответили на наш недоуменный вопрос молодые исполнители, не по своей же, надо думать, воле обрекавшие книги на смерть. От какого же «старья» избавлялись нынешние управители? В мешках были научные, публицистические, художественные издания — добросовестные или лукавые свидетельства довоенной и послевоенной эпох. Но там было и вечное — отечественная классика. Бунина, правда, там не было, но зато — все, кого он с детства боготворил, — Пушкин, Гоголь, Лермонтов. Более того, едва не вся русская литература XIX века, давно уже на Западе названная одной из недосягаемых культурных вершин человечества, предавалась изгнанию из стен редакционной библиотеки. Боратынский, Тютчев, Гончаров, Тургенев, Островский, Лесков, Успенский... Какими бы глазами посмотрел тот же Бунин на этот погром, какие бы слова дописал к «Окаянным дням»?

На устало-печальную память о разоре мы взяли из вороха, предназначенного к выбросу, несколько книг. Я выбрал довоенное академическое издание — сборник статей о Пушкине, да еще солидные тома «Русские писатели о языке», «Русские писатели о литературном труде». Литературный труд? Внизу, на первом этаже, невдалеке от лифта длинный сдесятеренный стол-лоток пестрел сотнями глянцевых переплетов, обоймами жестоких боевиков, триллеров, секс-рыданий, оккультных, магических, сектантских изданий. Поистине апофеоз масс-культуры, утягивающей в блескучий мрак. Пушкина, разумеется, там не было.

Почтенная столичная библиотека многими своими томами пошла на выброс. Какова тогда участь провинциальных, сельских библиотек, теперь предоставленных самим себе? Конечно, народ, как верил Платонов, «читает книги бережно и медленно», и уважение к Пушкину у него полное, лишенное всякого лукавства и конъюнктурной переменчивости. Но книга, даже и пушкинская, ветшает, и если она не переиздастся, ее на полке сельской библиотеки сменяет эрзац-книга имярек; не окажемся ли мы таким образом повсеместно в плену подмен?

ВО ВРЕМЕНИ И БЕЗ ВРЕМЕНИ

«Большинству наших молодых поэтов не хватает одного: их субъективное «я» недостаточно значительно, а в объективном они не умеют находить материала», — так афористично и лаконично немецкий поэт («Разговоры с Гете...» Эккермана) характеризовал состояние тогдашних поэтических натур; пожалуй, ничто не изменилось, хотя два столетия отделяют нас от той беседы.

Современные, на перетоке тысячелетий молодые стихотворцы пытаются погрузиться в бесконечные вариации своих переживаний, но они не чувствуют, не видят грозных всполохов времени. Времени, решительно не похожего на все прошедшие. Времени, в котором просвечивают апокалиптические, эсхатологические знаки Конца.

НАД ПРОПАСТЬЮ (НЕ ВО РЖИ)

Или все упования и сомнения (славянофильские, панславистские, русофильские, православные — Пушкин, Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы, Достоевский, Леонтьев, Данилевский, Панарин, Шафаревич...) приобретают в движении истории, а за последнее столетие — особенно, грустный, во всей трагичности даже до конца не предугаданный исход — генетический, демографический, геополитический, социальный, языковой? Взгляды также западных философов, историков, писателей (Поль Валери, Кнут Гамсун, Рильке, Мориак, Томас Манн, Шпенглер...) в отношении славянского, русского мира, его культуры, его цивилизации справедливы по отношению к его теперь былому, но не будущему. С другой стороны, и вся мировая цивилизация — *над пропастью* (не во ржи), и последний час человечества, ведомый только Создателю, никто из живущих никогда не предскажет.

СЕНТЕНЦИИ ДИРЕКТОРА ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ

«Где начало того конца, которым оканчивается начало?» — философствовал Козьма Прутков, который во множестве преподносил образцы ученой мудрости в духе «Волга впадает в Каспийское море». Когда-то пишущему эти строки выпало быть редактором-издателем сочинений Козьмы Пруткова, — странное занятие, дававшее знать наизусть многие шутейно-банальные, с видом серьезности, афоризмы: «Никто не обнимет необъятного», «Зри в корень», «Небо, усеянное звездами, всегда уподоблю груди заслуженного генерала», «Гений подобен холму, возвышающемуся на равнине», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», «Не ходи по косогору, сапоги стопчешь!», «И при железных дорогах лучше сохранять двуколку», «Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части».

Судьбы братьев Жемчужниковых, Алексея Константиновича Толстого — реальных создателей сочинений вымышленного автора, директора Пробирной Палатки, сложились по-разному, скорее тихо, нежели громко: о братьях сейчас мало кто что скажет. А Алексей Константинович Толстой — одна из сильных и трагических фигур в отечественной литературе. Задыхаясь от астмы…

НЕСГОРАЕМОЕ ИМЯ

В начале тридцатых годов прошлого века Михаил Афанасьевич Булгаков вовсе забедствовал: ни денег, ни работы, ни печатаний. Тогда друзьями был устроен договор на его тексты для театральных клоунов. У самой кассы, где писателя ожидал аванс, Булгаков вдруг снял и отдал друзьям пиджак, сказав, что ему на миг надо отлучиться. Ни в миг, ни в час к кассе писатель не вернулся. Друзья нашли его дома, и на их недоумение он решительно воскликнул: «Я русский писатель. Я не буду в цирке работать!». То есть, иными словами — не стану ублажать клоунов и толпу.

МАРТОВСКИЕ ИДЫ

Рожденные по весне, в марте — Бах, Гайдн, Ганс Христиан Андерсен, Гоголь, Ван Гог, Генри Джеймс, Рахманинов…

Но мартовские иды… Заколотый кинжалами заговорщиков Цезарь. И неисчислимые множества сошедших с ума, погибших, умерших. И сожженная карателями белорусская Хатынь… Вялый месяц, или месяц страшных энергий? Очистительных или разрушительных?

Месяц, настоянный на противоборстве зимы и весны, смерти и жизни.

В марте умер мой отец — воин, пахарь и просветитель. В марте умер-погиб мой старший сын — воин и поэт. В марте умер мой друг — писатель русского мира.

В марте родился мой младший сын. И в марте родился его младший сын, мой младший внук.

ГРУСТНАЯ СКАЗКА

Столь поздно, когда было уже за сорок, прочитан «Маленький принц»; разумеется, Сент-Экзюпери читал я и прежде, но — иное.

Хорошая и грустная сказка. Видишь: жизнь наша — перевернутая, искаженная, нездоровая. И притча о скорых поездах — в самую точку. Да и убийственное замечание Лиса по поводу рода человеческого: «У людей есть ружья. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши!» Тот же Лис: «Зорко лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Есть строки, даже не у самых великих, которые следовало бы повторять каждый день, может, как назидание ныне спешно живущим. Скажем, у того же Сент-Экзюпери, французского писателя, все еще летящего в мировом пространстве летчика, находим такие строки: «Невозможно и дальше жить ради холодильников, политики, игры в белот и кроссвордов! Это невыносимо. Невыносимо жить без поэзии, без красок, без любви. Да стоит только послушать деревенские песни пятнадцатого века, чтобы измерить глубину нашего падения! Все, что осталось, — это голос, которым вещает робот пропаганды. Два миллиарда ничего не слышат, кроме робота. И сами превращаются в роботов»; или: «Дураки очень опасны. И еще интеллигентные люди, когда они собираются группой. Интеллигентность — это дорога. А сто дорог разом — уже рыночная площадь. Это уже теряет смысл. Приводит в отчаяние».

ИСКУССТВО И ТОЛКОВАТЕЛИ ИСКУССТВА

«Теории искусства плодятся там, где само искусство плохо себя чувствует». Хайдеггер, а вышеприведенное высказывание принадлежит ему, — не из тех мыслителей, кто бы смог произнести что-либо ради красного словца. Он во всем серьезен и ответственен. И все же для полноты истины, быть может, в высказывании недостает двусловия: чаще всего. При всем при том насколько мысль немецкого философа выгодно отличается от «игрового» пассажа его же современника, близкого и территориально (Эрнст Фишер): «Искусство, конечно, необходимо. Вот только я хотел бы знать — для чего».

МАЯК ЛИ — МАЯКОВСКИЙ?

Маяковский, его (или чей?) лирический герой (или антигерой) любит наблюдать, «как умирают дети», он готов отцов «облить керосином и пустить по городу для иллюминаций», он готов «пулями по музеям тенькать», он готов жить «без Россий, без Латвий — единым человечьим общежитьем». Такой Маяковский с его так называемым лирическим героем мною более чем неприемлем (допускаю, что мое восприятие исходит от деревенской, народной почвы, на которой едва ли прельщают маложивотворные формулы эстетической условности, толерантности, амбивалентности и прочая). Такой Маяковский — едва ли маяк для всякого мыслящего и совестливо чувствующего, сострадательного человека. Но, надеюсь, был же и другой Маяковский — страдающий от неправды, соучастником которой и он был, от этих изящно ненавидящих всех и вся пустословных салонов и литгрупп, какие в революционные разломные времена плодятся особенно густо. Да, «не боимся буржуазного звону...»

ПРОШЛОЕ, ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В БУДУЩЕЕ

Нельзя жить с головой, повернутой назад. Все так. Но и нельзя безоглядно, бездумно, беспамятно, сломя голову, устремляться вперед, на своем пути сметая «лишнее», видя таковое в традиционно существующем. Во всем, по совету древних, требуется мера? Когда-то мчался ты за некоей синей птицей, не разбирая дороги, и ладно бы сам укололся о кусты шиповника и забрызгал платье мочажинной грязью, но и зацепил, порушил птичье гнездо, растревожил муравейник, изломал налитую колосьями рожь и, в конце концов, отрезвляюще ударился о незримую стену тупика. Правда, и когда оглядывался назад, посвящая этому долгие дни, ты также не чувствовал полноты бытия. И все же в молодости авангардист, ты окончательно пришел к признанию консервативного, эволюционного, традиционного начала как самого органичного для человеческой жизни. Как полагала замечательная поэт-поэтесса (Ахматова), традиция — это прошлое, переходящее в будущее. Не менее замечательный ее современник (Пастернак) о разрушительной антитрадиции писал: «Очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом и общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой своей природной тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего».

Вообще, о традиции и новации, консервативном и революционном в жизни и в искусстве наговорены и написаны горы книг — то невозразимых, то спорных. Просто и невозразимо — у Шаляпина: «Я не могу себе представить беспорочного зачатия новых форм искусства... Если в них есть жизнь — плоть и дух, то эта жизнь должна обязательно иметь генеалогическую связь с прошлым».

ПОЭТ

Мне снилась осень в полусвете окон,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе.
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.

В семнадцать лет часто повторял эти поразившие меня строки. Через три года посвятил поэту стихи… (Как и многим — и живым, и ушедшим, стихи, письма, инвективы. Потом — изорвал и выбросил: пустое занятие).

А позже любил перечитывать у поэта иное: стихи из «Доктора Живаго». А еще часто на память приходили строки из сорок первого года:

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Но это внепоэтическое — «перипетии»… бррр! (возможное — «Сквозь прошлого века лихие»? «Сквозь прошлого лучи косые»?) Хотя внепоэтическое слово — из лексикона древнегреческого, с которым через православие породнен язык русский.

«СОЛДАТ НЕ СУДИТЕ ЧУЖИХ…»

А кончится битва —
Солдат не судите чужих.
Прошу, передайте:
Я с ними боролся за них.

Мой учитель прочитал на слух и сказал, что строки — поэта Василия Кубанева. Я редактировал кубаневский сборник, но не мог припомнить именно эти стихи. Если они кубаневские — по его таланту, честности мысли и жизнеповедению они не являются чем-то удивительным; но неожиданным — являются; ведь юный поэт взрастал на большевистской, повсеместно в послереволюционной стране внедряемой схеме: кругом враг. Нет, невытравима в русской душе тяга и к милосердию, и к воспитанию — душевному пересозданию жестоких в милосердные, заблудших в зрячие, непросвещенных в просвещенные, обретающие катарсис.

И ЗДЕСЬ — ОТЕЦ И СЫН…

Повесть Даниила Гранина об ученом — «Эта странная жизнь». И действительно — странная. Погибает на войне сын, а извещенный отец, герой повести, размеренно пишет-размышляет о немецких и иных почтенных мэтрах отвлеченных наук; а позже в составленной им таблице тяжко пережитого за десятки лет находим — и сломанную руку, и сильнейшую неврастению, и «чуть не арестован в связи с кондратьевщиной», и сломанную шейку бедра… И ни слова о гибели сына на войне.

ВЕЧНАЯ МОСКВА

Шукшин в письме к брату Ивану не удержался сказать, что в Москве «немудрено протухнуть. Очень уж мало людей искренних». Пристрастное мнение, хотя, разумеется, правда в нем есть. Но и москвичи искренние тоже есть, как их столица ни перемалывает.

О Москве — тьма книг, даже в названиях она: «Путешествие из Петербурга в Москву», «Сожженная Москва», «Прошлое Москвы», «Москва и москвичи», «Далеко от Москвы» и т.д. Но ни одна книга не в силах передать историческое и мистическое движение Москвы, ее удивительный дух... Разве что первые устроители Москвы чувствовали ее будущее.

В Москве, после небывалого атеистического церковразрушительства, снова — густые перезвоны колоколов. Кажется, раскачивается небо, и земля колеблется под ногами. Но, может, и так: Москва не колокол, ее не раскачаешь! Или раскачивается и она — раскачиваемая?

ДЕНЬ И ЖИЗНЬ САРЬЯНА

Как не согласиться с Сарьяном, великим сыном Армении, великим художником! Когда его спросили, какой день в его жизни он считает самым счастливым, он ответил: «День своего рождения и все последующие за ним дни». Именно так: не один день своего рождения, но и все последующие дни, сколь бы ни тяжелы, ни горестны были иные из них; ибо только в разнообразии, в разноцветии, разночувствовании, противостоянии Добра и Зла — вся цельность, вся полнота жизни.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ?

Поэзия... Веневитинов, сам поэт, о чрезмерном национальном поэтическом страдничестве выразился резко, наотмашь: «Множество стихотворцев в стране есть признак легкомысленности нации». Древний грек Платон и вовсе предлагал избавляться от поэтов, а наш Толстой находил, что писать стихи, то есть переводить слово в искусственное «рифменное» состояние — как если бы пахарю танцевать за плугом. Но есть иное утверждение, дескать, по-настоящему благодатна страна, в которой много поэтов, и общественное мнение ставит их выше остального в культуре и общественной жизни. Для нас, русских, вернее всего: «Пушкин — наше все». У афористически сказанного поэтом Аполлоном Григорьевым через век появился некий вариант, по сути своей лжеафористичный: «Поэт в России — больше, чем поэт»... Так говорят в молодости, хотя и в молодости обычно говорят и поглубже, и поточнее. Здесь — претензия, ложная формула, ибо поэт (и не только в России, а и в других странах) явление самодостаточное, себя и вокруг себя объемлющее, он вселенная, вбирающая в себя множество вселенных, на его миссию не надо еще чего-то привешивать.

БОЛЬШИЕ ЛЮДИ И МАЛЫЕ СЛАБОСТИ

У множества больших людей, о которых знаешь, судьба которых — не сторонняя в твоей судьбе, есть жизненные взгляды, импульсы и поступки, объясняемые их природными чертами души и характера, но мало соотносимыми с величием чести. (Бунин заявляет, что Достоевский и Тютчев для него необязательны; это вызывает улыбку, но строго говоря, читатель тут же и отметет как пустячный этот, может, горделивый, может, ревнивый, а может, и непроизвольно вскользь брошенный выпад. Недобро пристрастный писатель или читатель тут же вспомнит бунинские слабости, даже припомнит, как родные называли его, вспыльчивого, подчас нелестно: Судорожный; вспомнит и простительные человеческие слабости — просительные письма о присуждении ему Нобелевской премии, и его метания в трагическом и унизительном для него треугольнике (жена Вера Николаевна Муромцева, возлюбленная Галина Кузнецова, возлюбленная возлюбленной

Марго Степун). Но что до этого человеку, при чтении бунинской «Жизни Арсеньева» овеваемому красотой русского слова?

Насколько же точен Пушкин, наш вечный гений! Во всем — точен и благороден. Из письма (ноябрь 1825) Вяземскому: «Зачем жалеешь о потере записок Байрона?.. Мы знаем Байрона довольно... Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал, и мерзок — не так, как вы — иначе...»

ИЗ ПОРОДЫ ТОЛСТЫХ

На стрежне перестройки (11 мая 1989) — весь день с навестившим Воронеж и мне «порученным» Никитой Ильичем Толстым, академиком-славистом, председателем фонда славянской письменности и культуры. Он правнук Льва Николаевича, и порода чувствуется в обширном уме, живом любопытстве, благовоспитанном, улыбчивом отношении к другим — (впечатление одного дня); а традиция — даже в уместно-представительной бороде, про которую академик, смеясь, заметил, что долго ее не отпускал, не выращивал, и все же решился: она принадлежность облика Божия. Разговор, разумеется, шел не только про славянскую письменность и культуру, хотя мы побывали в соответственных местах: Воронежском госуниверситете, писательской организации, журнале «Подъём», но и в целом о культуре, об истории. Показал ему, чем славен Воронеж: подугорьем с былой воронежской верфью, чертой огненной обороны в летне-осенне-зимние дни войны, уголками, связанными с именами Болховитинова, Кольцова, Афанасьева, Бунина, Платонова, Замятина... Не могли коротко не обменяться мыслями и о новой центральной власти, все более беспомощной. Высокий гость дал, на мой взгляд, убедительное объяснение: «Люди, подобные Горбачеву, всеми правдами и неправдами рвутся к власти, а дорвавшись, не знают, что с нею делать; что делать с огромной страной, которая требует воли, ума и сердца верхосидящих?! Вот Ясная Поляна... Энтузиасты туристической жилки предлагают как можно больше заасфальтировать усадьбу. А зачем? А энтузиасты-туристы во власти, может, не прочь всю страну заасфальтировать? Забетонировать? И разумеется, всюду репродукторы расставить: труби кто во что горазд. Свобода слова». И вдруг неожиданно закончил: «А вы видите, как сужается русское слово — красивейшее слово славянского мира!»

ПОЭТЫ-ПРОРОКИ

«Так пророк ли поэт?» — кто-то вопрошает, кто-то отвечает. Подчас целые «умничающие» дискуссии разгораются — замкнутые, схоластические, кто-то скажет, выеденного яйца не стоящие. Мельком упоминаются Пушкин и Лермонтов с их одноназванными стихотворениями — «Пророк». А далее кому что видится, — кто же и как несет бремя пророчеств: Маяковский и Хлебников, Гумилев, Цветаева, Бальмонт, Заболоцкий, у которого волк пытается стать растением в поэме «Безумный волк», Александр Введенский, Аркадий Кутилов, Николай Рубцов...

Непонятно, почему остаются в стороне и первоисточный Ветхий Завет, и Евангелие. А изначально верные ответы — там. «Кесарю — кесарево, Богу — Богово». Поэту — поэтическое, пророку — пророческое. Соединяются ли они? Разумеется. Поэты обретают пророческое состояние, пророки — поэтическое. Причем, есть поэты и пророки, обращенные в прошлое, есть поэты и пророки, обращенные в будущее. Тут добавочно (или — прежде всего) вспоминаются Боратынский, Хомяков, Тютчев... Но это общие места, трюизмы, истины давно-давние.

НА ПОДИУМЕ — «ШЕСТИДЕСЯТНИКИ»

«От женщин рольс-ройсы родятся, / Радиация...» Как еще недавно мне это показалось искренним воплем века, так сейчас воспринимается условно метафорическим и поверхностным. Наверное, Андрей Вознесенский — линия наименьшего сопротивления, не без таланта и эпатажа проведенная. Он дает не мир, а себя, экспериментирующего. Его строка все же несет ощущение нашего двадцатого века, весьма чреватого угрозами неслыханными. (Самое забавное или грустное, что и я, еще до Вознесенского, еще совсем молодой, уйдя от почвы и космоса на городские асфальты, тоже экспериментировал, — когда стихи являлись в виде кругов, ромбов, квадратов, пирамид, крестов, древесных листьев, птичьих крыльев и т.д.)

На первом курсе пролистав сборник Евгения Евтушенко, воскликнул, лишь чуть переиначив слова стихотворца: «О помоги мне, Гумиста, поэзия моя пуста!» Таким было первое впечатление от прочитанных его ранних стихов; а далее — за немногими исключениями хороших строк — всехватальчество, «темп вечной погони», искренняя фальшь-дерзость и... невежество. Но — даровит, плодовит. Разумеется, яростные почитатели, шлейф из надувающих шарики.

Между тем в каком-то коротком ослеплении адресовал шестидесятникам некие хвалительные строки — гимназическое, ненужное...

ДВА ГОЛОСА И ДВА СЛУШАТЕЛЯ

Слушатели были друзьями и, крепко выпивши, слушали на магнитофоне (дело было в конце шестидесятых) песни В. и стихи Е. Чувствовалось, что у одного — из сердца рвется (этот нажим на согласные «р», «н», его впервые применил Шаляпин, пробирает так, что подчас мороз по коже); а другой имитирует, что якобы сердце рвет, между тем заученно повышает, понижает голос, весь изгибается, по всему видно: у зеркала не один час покрутился, искусству эстрады научаемый.

И вот два друга заспорили.

— «И лезут в соколы ужи, сменив с учетом современности / Приспособление ко лжи / Приспособлением ко смелости»». Разве не поэт? Да еще гражданский, да еще протестный!

— В подобном роде Сосновский о Горьком уже писал ... Знакомы нам эти протесты против власти с похвалами ей же через час.

— У поэта, как ты его называешь, эстрадного — десять книг и мировая популярность, а у твоего барда — ни книжонки.

— У «моего барда» любовь народная. А книги у него еще будут. Только такие, как твой шумный стихотворец, попомни мои слова, не возьмутся помочь ему в издании хотя бы малого сборника. Может, от зависти, от ревности... Да и самим надо всюду поспевать, издаваться, заказывать рецензии и гостевые столы по случаю, по случаю, по случаю...

ПРОТИВ СТРЕЛЯЮЩИХ

«Монолог» Владимира Высоцкого — запись на Центральном телевидении в январе 1980 года. Через несколько месяцев его не станет.

Первый сборник его стихов выйдет не сразу после смерти, предисловие напишет Роберт Рождественский, поэт и большой литературный начальник, и в том сборнике весомые слова из песни «Я не люблю...» Высоцкого окажутся разительно искаженными:

Я не люблю, когда стреляют в спину,
Но если надо, выстрелю в упор.

Не так это! Мысль передернутая, позиция неприглядная, ковбоистая, и даже если Высоцкий однажды почувствовал, сказал, записал так, это минутное, это не главное его состояние, им же окончательно выраженное честно и недвусмысленно:

Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Против! Против! Против!

ПРЕМИЯ И ЛАУРЕАТЫ

Нобелевская премия? В науке, может быть, она своей моральной ценности еще не утратила, где политические страсти — не главное. Но премия мира — после жалко-незадачливого политика Михаила Горбачева, или по литературе — после заурядной журналистки Светланы Алексиевич, прозападной, полной ненависти к восточнославянскому; и вообще мелкой и злобной, судя по ее нездоровым словцам об Олесе Бузине, честном и мужественном украинском писателе-публицисте, убитом отморозками после переворотного майдана? Премии такого свойства: из-за политических предпочтений — едва ли явятся индульгенциями на добрую память и славное будущее.

Или окончательно ушли послевоенные уровни, когда творчество претендента-нобелианта тщательно рассматривалось со всех сторон, тщательно взвешивалось? При присуждении премии Альберу Камю (сам он считал своего соотечественника Андре Мальро более достойным чести (тогда еще чести, быть отмеченным), рассматривались также творческие значения и преимущества Сартра, Пастернака, Беккета, Сен-Жон Перса. Во всех смыслах — сильные имена! А ныне? При действительно выдающихся общественных деятелях и литераторах премии присуждаются чаще всего разновозрастным, разнонациональным, разнополым все тем же горбачевым и алексиевичам.

ЖЕНЩИНЫ НА ПОЭТИЧЕСКОМ ОЛИМПЕ

Кто так подумал, или многие так думают: «Женщина-писательница совершает двойной грех: она увеличивает число книг и уменьшает число женщин». Резко? Мужское высокомерие?

«Пусть женщины пишут. Но чего уж никак я не могу понять, когда мужчины пишут, как женщины», — саркастическое замечание Гете, сразу задевающее и мужчин, и пишущих женщин. А как последние-то пишут? Неповторимо и прекрасно пишут! Ростопчина, Гиппиус, Цветаева, и прежде других — Ахматова! Но вот проглядел, пролистал во всесоюзном молодежном художественном журнале «Родословную»... Велики твои всякости, Господи! Вообще у немалого числа современных женщин-поэтесс (невольно вспомнишь бунинское: «Все принца ждет, которого все нет, — / Глядит с мольбою, горестно и смутно: — / Пучков, прочтите новый триолет...» / Скучна, беспола и распутна») целый монблан претензий, амбиций, новаций. Поди у каждой на уме вопрос госпожи де Сталь: «Сир, какая из женщин Европы видится Вам самой великой?» Резкий, как взмах меча, ответ Наполеона известен: «Та, что больше всех детей нарожала!»)

ПОЭТЫ И ЖЕНЫ

Жигулин — его муза, его жена Ирина, верная и деятельная участница в подготовке и издании его стихов. Ей множество посвящений, из женщин — только ей! И вдруг Белла... Да, Белла, и от странности их больничных отношений как-то неловко и грустно; или, может, поэтом в своем эссе взят тон неверный? Или, может, я, хорошо знавший высоту, искренность отношений поэта и его жены-музы, несправедливо резок, и, разумеется, никто не вправе судить, поскольку не в силах понять неожиданные изломы человеческих судеб, выпадающие и вовсе не по нашей, человеческой воле.

Здесь целая тема: женщины и их забота о художественном наследии ушедших. Прасолов — о его наследии позаботились и былая возлюбленная, и последняя жена-вдова. Никулин — тоже издан стараниями, прежде всего, жены и дочери. Белокрылов — (грустное: ушедшая к другому первая жена); два десятка лет спустя после его гибели явилась искренняя хранительница его строки и памяти о нем, местный ангел из литературного мира. А Гордейчев? — на свалку выброшены книги его личной библиотеки с надписями выдающихся поэтов эпохи: жена скончалась вслед за мужем, и некому было сохранить редкостное собрание: нынешнему времени, ласкательному к олигархически-нуворишному слою, верхушечному, правящему, и вовсе малоласковому к «низам», к именам не бомонда, нет никакого дела до провинциальной культуры и литературы; а у местного писательского сообщества не находится средств издать избранное поэта или книгу памяти о нем.

Вдовы Пришвина, Платонова, Булгакова, родные Андрея Снесарева, Сергея Есенина, Бориса Корнилова, с которыми я встречался, были убеждены в значении и будущем признании своих мужей, братьев, сыновей. И что могли сохранить — бережно сохранили. Но немало потерялось при лихолетьях, переездах, пожарах, войнах. Разве что косвенные свидетельства, но они — именно косвенные.

СОВСЕМ НЕПОДАРОЧНЫЕ КНИГИ

Дорогие издания — не именно крупноформатные и непременно в кожаных переплетах, с золотым тиснением, богато иллюстрированные, с разными видами бумаги — от палевой до синей.

«Из-под глыб» — неказистая, в карман вмещаемая книжка, больше похожая на записную, на невзрачный блокнотик: в обложке, с грязно-зеленой лидериновой приклейкой. Бумага — папиросная, тонко просвечивающая. Но серьезная, сильная содержательно! Подаренная мне издателем Струве эта книжка с его надписью, с автографами Солженицына, Шафаревича — уже, разумеется, библиографическая редкость, для меня памятно-дорогая еще и тем, что в подмосковных середниковских местах, где я бывал, правясь в лермонтовские уголки, Солженицын и Шафаревич совершали укромные, удаленные от нежеланных ушей и глаз прогулки, размышляя над будущей книгой «Из-под глыб» (Москва-Париж, 1974).

А поистине — бесценный подарок: «Бессмертный дар. Повесть о словах» — присланная мне из Барнаула книга человека трудной судьбы, из первой волны русской эмиграции Дмитрия Юрьевича Кобякова с его правками и вклейками, трудными для автора, если прочитать его, ослепшего, надпись: «Дорогому товарищу — Виктору Будакову шлет дружеский привет из далекого Барнаула слепой автор этой книги Д. Кобяков. 11 апреля 1966».

Или малотиражный сборник ранних стихотворений Жигулина, подписанный одному известному поэту, скоро ушедшему из жизни, понятно, ему не врученный и переподаренный мне долгие годы спустя. Тоже библиографическая редкость...

Увы, сколько подобных книг часто бесследно исчезает!

БОЛЬ И СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

С удивлением взирал он, как вельми благополучный писатель, преуспевающий и всюду поспевающий стихотворец, эссеист, сценарист, романист, записывал в блокнот все, что попадалось на глаза, что слышали его уши, а главное, схватывал скорописью чью-то неисцелимую, торопящуюся выговориться боль, огромную человеческую боль, на ходу выливал ее в флаконы своих эссе, сценариев и романов.

И хотел он крикнуть многоуспешливому мэтру: «Да не бывает настоящих искусства и литературы без своих кровоточащих ран! Или же прими чужие боли как свои и не делай из них чтива!»

Подлинного искусства без боли, верно, не бывает. Но собрания сочинений бывают.

НАДПИСЬ НА НЕОТОСЛАННОЙ КНИГЕ

Известный писатель, автор нашумевшего исторического романа и дюжины книг разных жанров, не любивший раздавать автографы — свидетельства писательско-читательской суеты, — но по неписанному закону вынужденный это делать с неприязнью к себе и любителям автографов, всем знакомым и незнакомым подписывал книги одинаково, по трафарету: имярек такому-то — «с добрыми пожеланиями». Кто-то, думал он, будет за ценность выдавать, хвастаться своим знакомством с ним. Но, смех и глупость, какая ценность в этих беглых автографах, которые он в залах, где выступал, раздавал всем подряд... направо и налево, и правым, и левым?

Но однажды... «Надеясь, что, постигая многие и лучшие мелодии мира, ты не забудешь звуки отчего края — материнское и отцовское слово, плеск донской волны, шорох колосьев... все, что в долгий путь дала тебе изначальная родина», — надписал он на своей книге юному земляку, поступившему в консерваторию и уезжавшему далеко. И, надписав, не то с недоумением, не то с горечью подумал, что и сам он далеко, давно уже далеко от отчих звуков, редко и коротко звучащих лишь в снах.

У КРИТИКИ ЕСТЬ ЛИ ПЕГАСЫ?

Критика? Да, ремесло не изначальное, не имеющее корневой жизни, — вторичное. Кажется, у Чехова есть мысль о том, что критик — это слепень на теле коня пашущего, коня, ведущего борозду. На литературу налетали полчища таких слепней, их имена, даже помня, неохота называть, а скольким великим — от Пушкина и Достоевского до Булгакова и Шолохова — они попортили крови и порвали нервных волокон!

Даже Белинский, критик-поэт, критик вдохновенный и интуитивно проницательный, сразу объяснивший великое значение для России, Европы и мира Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Достоевского, Гончарова и Тургенева, даже он кинулся во все тяжкие со своим тяжелым кистенем-письмом к Гоголю, когда тот подвиг себя к высотам православным, где смирение, всечувствие и всепонимание лишают гордыню ее художественных и иных проявлений.

Блок сокрушался тому, что поэт, называя все привлекшее его в мире по имени, «отнимает аромат у живого цветка». Но каково же тогда критику, который не свое создает, но препарирует чужое?

И опять-таки: есть лирическая, поэтическая, историческая, философская критика, которая, отрываясь от конкретности, обретает самостоятельные крылья.

ЛЕКСИКОНЫ УЧЕНЫХ

Язык ученых? Разумеется, ученый, скажем, лингвист другому ученому-лингвисту рознь, но неизбежно вырабатывается микроязык, понятный только данной ученой среде. Тут невольно вспоминается остроумное наблюдение Монтеня, давнее-давнее: «Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования... А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной».

СОАВТОР — ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

Жил да был писатель-рассказчик, печатавшийся и в провинции, и в столице. А как писал рассказы? Брал телефонный справочник, листал алфавит, списывал оттуда или серьезную, или смешливую фамилии, чаще на «Л», и в зависимости от этого, гонял фамилию то на серьезные многотравные пастбища, то на колкие косогоры, а то и на шумные городские улицы. И выпекался блин-рассказ — то задумчивый, то юмористический.

ПОВЕСТЬ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Его повесть до последней строки родилась из пережитого им (за исключениями редчайшими, он никогда не записывал увиденного, тем более, услышанного, чтобы не пользоваться чужим). Когда он писал повесть, позже никем не «надуваемую», но благодарно принятую читателями, он страдал — заново переживал пережитое, так что сердце болело и изнашивалось быстрее обычного. Он знал, что можно иначе: через пылкое воображение или спокойное бытописание, но он так не мог. Первая его повесть стала и последней.

А у его знакомого писателя из тех, что «ни дня без строчки», — спокойная безнаучно-научная гуманитарная кафедра, вальяжно-спокойный характер, сверхтолерантно-спокойный взгляд на жизнь обеих земных полушарий. Но и почти полностью вокниженное писание — спокойное, размеренное, холодно-рыбье.

КРАСНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Двое пишущих якобы философские эссе и рассказы едут в полупустом троллейбусе, за неожиданной встречей на остановке позабыв приобрести билеты. Появляется кондуктор-контролер. При его приближении один из пишущих небрежно вынимает красного коленкора удостоверение, жестким жестом выбрасывает руку вверх, и «контродер», увидев красные корочки, вполне удовлетворяется и проходит мимо них. Другой начинает гадать: «Что это у него за влиятельные красные корочки? Из какого ведомства?»

Через неделю, при условленной встрече, обладатель красных корочек вдруг предлагает: «Хочешь, я подарю тебе сюжет. Двое пишущих едут в полупустом троллейбусе...»

Нынче никого не удивить роскошными представительскими корочками, будь они хоть ведомственные, хоть правительственные, хоть из сфер небесной канцелярии: оные изготавливают едва не в каждом большом городе — из гаражей и подвалов выпархивают эти поддельные паспорта, дипломы, удостоверения...

ПО-РАЗНОМУ ПИШЕТСЯ В МОЛОДОСТИ И СТАРОСТИ

И рассказывал немолодой писатель. «Ныне сидишь и мучаешь себя за письменным столом. Предложение напишешь — и сомневаешься, абзац если — нередко весь перепишешь... Давит, угнетает сомнение, стыд, покаяние за прожитое. Да и здоровье никудышнее.

А когда-то в молодости: на глухой темной станции, возвращаясь из командировки, в ожидании поезда раскрыл большой, еще незаполненный блокнот (я тогда журналист был) и вдруг будто кто-то вложил в руки перо: стал наспех записывать, едва успевая за мыслью. Будто кто-то водит моим пером, стоит за спиной и водит. Ночь, в захолустном вокзале — полутемь, никого. Полблокнота исписал. Так увлекся, что и поезд свой прозевал...»

НЕ УДЛИНЯЕТ ЖИЗНЬ

О ком это он записал четверть века назад: «Она была чудо, филлида, взметнувшаяся миндальным деревом». Она, видимо, и сейчас хороша? Но почему же вопрос? Где она? И жива ли она? Книжное слово как сравнение или метафора не удлиняет человеческую жизнь.

КРУТИТСЯ-ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ

Начало второй половины двадцатого века. Праздник весны. Море голубых шаров над головами проходящих колонн, море — в детских руках. «Крутится-вертится шар голубой».

Куда катится шар — голубой? Или уже и мир — яростно голубой? Какая у человека главная миссия на земле? Как ему потянуться к Божественному, а не сатанинскому? Наверное, каждый за свою жизнь не в один час передумает об этом; многие и книги пишут, часто — вольно или невольно — обманывая себя или других.

КРАСИВЫЕ СРАВНЕНИЯ

Как разнятся сравнения у поэтов — мужчин и женщин! Разумеется, не только сравнения. Стихи — узнаваемо мужские и узнаваемо женские.

Ахматова пишет: «Он только трогал грудь мою, / Как лиру трогают поэты». Изысканно, красиво, может, поэтично. И все же... А вот — Лорка: «Испуганно бились бедра, / Как пойманные форели». Тоже не без изыска, но сколь зримо, захватно!

И у прекрасных поэтов, будь они мужчины или женщины, случаются красивости, далекие от красоты художественной.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Женщина — главный редактор крупного издательства в советские времена. Жизнь ее — благодарной книги достойная. Красивая женщина, когда-то деревенская девочка, голодное детство: родители жестоко пострадали от комбедовских реквизиций. Предвоенная юность, бессонная страда войны, частое донорство, скольким жизнь спасла, а сама падала от истощения, доставляя отцу-матери в деревню последние крохи. Сватались многие, а она сердце доверила мужествен-

ному, талантливо пишущему фронтовику, но искалеченному войной и вконец спившемуся. Сын в последний день армейской службы погиб, дочь — больная.

За год ей приходится прочитывать сотни рукописей и книг. Перед глазами — разное: радость, когда — и содержательное, и художественное (Владимир Кораблинов, Юрий Гончаров, Анатолий Жигулин, Алексей Прасолов, Василий Песков...); чаще же — мелкое, пустое, без боли сердца и ума, без душевной сопереживательности.

Иногда она порывается доверить бумаге свое, но служебные и домашние заботы не дают и малой толики времени, чтобы начать и завершить рукопись. А ненаписанная повесть — настоящая, жизнестрадательная, искренняя!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

Известный исторический писатель принимает заказ от властного и умного, думающего о благе народном правителя-государственника — написать историю Отечества, тысячелетняя история которого бессмертна идеями, победами, великими фамилиями. Даты смерти выдающихся людей (Александра Невского, Ломоносова, Суворова, Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого...) не должны были обозначаться, словно они физически и ныне продолжают жить. Правитель был убежден, что так предки больше помогут живым в устроении страны, которую он, невзирая на Правительственный Совет и лево-правых советников, надеялся вывести на первое место в мире, дабы преподать миру исполненные нравственности и справедливости законы.

Писатель исписал бумаги на дюжину деревень, отобразил половину истории, а далее захотел узнать, как его книга об отечественной истории сопрягается с общественным мнением и мнением Правительственного Совета. И он посоветовал практическое — собрать собор старых и малых. Созвали собор старых и малых, а с ним и расширенный Правительственный Совет. Один отрок сказал: «Нам наши предки и помогают, и, конечно, еще помогут. Но вы-то сами не разворовывайте родину, не жадничайте, не живите в раздоре, а объединитесь. Живите без зависти, по совести и чести». Подростку бурно хлопали. Через месяц о его юном искреннем слове забыли.

А писатель так и не завершил свою рукопись — историю родной страны.

ЦЕНЗУРА

О цензуре семидесятых годов прошлого века сделал запись: «Пусть государственные и военные тайны пребывают под бдительным оком цензуры. Но ведь каково рвение последней, подчас самодеятельное! Вычеркиваются строки о партийных и чиновных временщиках, о жестокостях революционных, о народоломающих издержках коллективизации, о голоде тридцатых во многих областях страны, о тяжелом положении в послевоенной деревне, о гибели солдат в мирные дни». Как пишущий и как редактор не своих рукописей сполна испытал литовской стражи, — благоглупостей, дури, неутомимости цензурных ножниц: словно недопущенная к печати, внекнижная бывшая или нынешняя реальность утрачивает свое историческое бытие; нет, она неизменно существует и больно отдается в сердцах не только переживших лихолетья, но и в наших сердцах.

Сказать и так: во все времена — свои табу. Даже в самые либеральные. И сколько их мы наблюдаем уже в нынешнем веке. Разве что компьютерные, интернетные, сетевые технологии не поддаются хотя бы мало-мальскому цензурированию. И через этот Интернет, через эти сайты, социальные сети и прочая сколько же грязи, зла, лжи, изливается на страны, государства, народы и, конечно же, на достойных,

порядочных людей, жизнь, творчество, образ действий которых ненавистны мелким, завистливым, лакейским, ничтожным исказителям образа Божьего и человеческого. И здесь невольно вспоминаешь ответственно-точные, как всегда, мысли Пушкина о том, что в благоустроенном государстве цензура необходима, поскольку она ограждает личную честь и честь отечества-государства.

НЕБЛАГОЗВУЧИЯ

Незамечаемые в обыденной речи, неблагозвучия режут слух в строке поэтической — случаются они даже у больших поэтов. Даже у Лермонтова — «Уж не жду от жизни ничего я...» (Эти стыки «Ж» отнюдь не аллитерационного свойства; то же самое у Есенина: «Уж не жалею больше ни о ком». Но здесь звуковое неблагозвучие сразу погашается красотой и глубиной чувства, трагизмом мысли, силой образа. А вот, например, звуковое обозначение России, во многих языках звучащее родственно (Руссия, Руссиа, Русия, Русланд, или даже к латыни восходящая Рутения...) на английском звучит пренебрежительно-шипяще: «Раша». Словно и здесь — островитянка мутит, если заменить суровое суждение то ли Суворова, то ли более поздней знаменитости о совсем не джентльменском отношении Альбиона к России.

В ПЕРЕВОДЕ И БЕЗ ПЕРЕВОДА

«На талии точеной двух Америк / Свирепые играют океаны»... Даже в переводе — как хорошо! Помнится, это Пабло Неруда. Или: «Я манговое дерево / В его неудержимом росте вверх»... Поэт явно африканский, имя затерялось в море иных имен, а строка вспоминается. Что же до русских строк — наплывают часто, понятно почему: родные они, и дышат они великими талантом и болью. И тут невольно думаешь: а сколько небесно высоких, океанически глубоких строк нам не дано услышать, — строк, не сказанных рано сгоревшими, рано ушедшими, рано погибшими поэтами разных эпох и народов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Кто-то приметил: «В России оригинальные люди от женщин не рождаются, — их выращивают литераторы». Примечание и достаточно язвительно-остроумное, и пустое, а главное, — неверное. Да, велики и оригинальны образы русской литературы — от гоголевской Руси-тройки до братьев Карамазовых Достоевского. Хвала и слава отечественной словесности — в ее лонах действительно рождаются «оригинальные люди» — образы, известные всему миру: Онегин, Рудин, Обломов, Раскольников, Платон Каратаев, Самгин, Мелехов...

Но ведь и создатели этих образов — их не назовешь неоригинальными. А множество известных «оригинальных» в сфере внелитературной?! А тысячи и тысячи неизвестных?!

ДЕНЬ ДОБРА И ВЕК ПОШЛОСТИ

Он шел и видел, как, словно в калейдоскопе, сменялись день шахтера, день писателя, день милиции, день строителя, день учителя — почему только день?

А не реальность ли день пошлости? День, переходящий в века? Столичные вывески: Академия ботинок. Академия маникюра. Академия ногтей. Академия фаллоса. Академия надгробий. Иными словами — тотальная академия: как дурачить... Он чувствовал, что день добра не состоялся, зато ширится век пошлости и

низости, где погребальные цветы выдаются за свадебные, а ярко-цветные маски прячут самое лютое безобразие... А сколько бумаги потрачено на рекламу всего этого непотребства. Один автор даже накатал книжку «День резинок для женских трусиков»...

ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ

Сколь много в сегодняшнем мире ложного (третье тысячелетие от рождества Христова), которое не только всевозможными рупорами, экранами и каналами подается за истинное, но и само по себе имеет видимость истины.

А разве два тысячелетия назад было иначе? Не столь давно «услышанное» от Цицерона: «Мы не из тех, которым кажется, что нет ничего истинного, но мы из тех, которые утверждают, что ко всему истинному присоединено нечто ложное, и притом настолько подобное истинному, что нет никакого признака для правильного суждения и принятия».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Заменив лишь одно слово в известном определении и не изменив тем его сути, можно повторить: «Всякая энциклопедия содержит все, за исключением того, чего в ней нет». Особенно это касается региональных энциклопедий. Берешь по надобности в руки в надежде найти искомое (имя, событие) и не находишь его. Здесь и естественная невозможность объять необъятное, и, что печальнее, пристрастность автора или авторской группы. В подтверждение чему обнаруживаешь вдруг имена, ничтожно значащие, но по идеологическим позициям любезные соорудителям энциклопедий. Чаще всего засеянные поля энциклопедий — это лаборатории полу-ученых копач-копачевых, малодостаточных, чтоб не сказать резче, в научной объективности. И тем не менее — большой труд, усидчивость «безвдохновенных литературных сидельцев», как однажды тебе пришлось выразиться в диалоге с последними, корпоративная сплоченность и пробивной характер-успех. В итоге — многим помогающее обширное информационное издание.

НЕОЛОГИЗМЫ

В молодости являлись слова-неологизмы — ненадуманные, непроизвольные, меня не спрашиваясь. Еще с юности — локосы, то есть локоны и косы; и не спортсмен, а спортивник; и не бизнесмен, а делоделатель; и не спекулянт, а грошеухватчик; и не славянофил, а славянец (не смущаясь фонетически близким: словенец).

В замену тяжеловатому слову «единомышленник» годилось, на мой взгляд, «единовзглядник» — более короткое слогами, правда, по-сербски набегают друг на друга согласные; всемирно навязчивой «партии» — звучащая по-старорусски «соборница» или даже «собранница».

Неологизмы тогда шли, не спрашиваясь, легко и весело, сами по себе... Зато в перестроечный иноязычный наплыв они, как и общепринятый, традиционный словарь, — уже более серьезный протест против лексики-иностранщины. Целая гроздь русских синонимов: единственный, исключительный, необщий, особый, первосказанный, предпочтительный, сиюминутный и т.д... Но нагло и повсеместно вбивается трудновыговариваемое: эксклюзив.

Российская академия наук или одинокий человек, богатый патриотическими чувствами и... деньгами, быть может, когда-нибудь издадут словарь неологизмов? Новых слов, корневыми истоками, фонетически, интонационно органичных в

движении языка? Большие отечественные фамилии, украсившие родной язык, сошлись бы в таковом словаре: Ломоносов, Карамзин, Пушкин, Даль, Лесков, Мельников (Печерский), Шолохов, Леонов, Солженицын, Распутин...

КОРНЕВЫЕ И ЗАЛЕТНЫЕ СЛОВА

Для мирового общения, может, и удобен был бы изначально единый язык, но сколько бы потеряла мировая культура, не будь многообразия и разнообразия их, подобным многоцветию на широких полях бытия. Языки от века лексически перетекают друг в друга, дополняют, взаимно обогащают; органичнее всего — в нереволюционные, неагрессивные эпохи.

Но... шопинг, ваучер, менеджмент, имиджмейкер, шоу... слова шипят, мяукают, сталкиваются звуками в неблагозвучии и трудновыговариваемости.

Откроешь далевский словарь русского языка — слова действительно живые, они — как начала песни, как звуки колокольчика и громы колокола, они пахнут лугами, реками, облаками.

Но всемирное человеческое общежитие принимает иные слова, всюду победно шествует язык-интервент; и вспоминается Наполеон, его высказывание о языке, на котором сподручно разговаривать с лошадьми; ныне — даже и не с ними, а с роботами, киборгами, умнейшими машинами.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПОИСК

Перебирая горы книг и журналов домашней библиотеки (в поиске отнюдь не метафизическом, а вполне реальном: где-то таилась срочно потребовавшаяся книга Роже Гароди), наткнулся я на журнал «Новое книжное обозрение». Вспомнил, что в середине девяностых даже представительствовал от Воронежа в этом международном журнале — был собственным корреспондентом, хотя уже и не мог вспомнить, какие именно строки туда поставил. Стал перелистывать и сразу обратил внимание на беседу обозревателя журнала с Морисом Дрюоном, знаменитым своими историческими романами «Проклятые короли», бывшим министром культуры Франции, бессмертным членом Французской академии, корнями — русского. О его «русскости» естественный вопрос и соответственный ответ: «Да, это так. Но я дорожу прежде всего духовным родством с Россией. И ему я обязан прежде всего Льву Толстому... Я восхищаюсь его романом «Война и мир»... И когда я гулял по Москве, я видел, как люди проходят перед каким-либо домом, описанным в «Войне и мире», я осознанно помнил: да — Россия — это моя Родина. Но кроме этого, для меня существует еще много важного — целая классическая литература. Должен сказать, что во время общения с русскими людьми в путешествиях по России я обнаруживаю одну и ту же тенденцию, одну и ту же характерную черту, подобную той, которая была еще в Санкт-Петербурге во время Пушкина и Лермонтова: это какой-то постоянный, я бы сказал, метафизический поиск, свойственный именно русскому человеку».

Поиск верного слова? Поиск верного друга? Поиск родного пространства? «В поисках утерянного времени»? Поиск смысла жизни? Поиск правды и справедливости? Поиск горнего?

РЕДАКТОР ПРОТИВ ПИСАТЕЛЯ?

Юрий Данилович Гончаров был неуступчив в работе с редакторами, отстаивал каждую, на редакторский глаз, сомнительную фразу, походил в этом на Шопенгауэра, требовавшего от издательств: «Урезайте мои луидоры, но не урезайте моих запятых». Были даже очевидные спорные строки, но... А вот Николай Алексее-

вич Задонский и Владимир Яковлевич Евтушенко легко шли на сокращения — могли поступаться абзацами и даже страницами. С кем проще было работать редактору?

ИНФОРМАЦИЯ КАК СРЕДА ЛЖИ

В центре Москвы, в огромной квартире писателя-классика Леонида Максимовича Леонова зашел у нас разговор о свободе и в частности о свободе информации, ее разных формах и проявлениях. «Телевизор, — заметил классик, — опасная демократизация средств информации». Помолчал — и далее: «Да, всякая информация, даже будь она перед глазами, как твои пальцы, может быть неточной, причерненной или прибеленной, приукрашенной, — все зависит от значимости информации и значимости ее передатчика в образе человеческом. Вот мемуары. Тоже информация, жанр, строго говоря, не могущий быть ясным. Я, скажем, знал Станиславского. Вспоминаю его. Станиславский, пишу, однажды сказал: «Есть Леонов, а вторым планом Шекспир». Поди проверь, как именно сказал Станиславский».

Что эти наивные информационные жанры перед компьютерными технологиями, социальными сетями, где любая дичь, ложь, пошлость забирает в свои жернова миллионы так называемых пользователей. Здесь человека в его высоком значении нет! Есть пользователь, «глотатель пустот», раб всемирного блогера, жалкая поросль электората.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР С ГОНЧАРОВЫМ

Познакомился я с Юрием Даниловичем Гончаровым в пору моей поздней «коммунаровской» молодости, когда принес ему в журнал «Подъём», где он заведовал тогда отделом прозы, свой очерк-эссе «В том плодородном подстепье» — путешествие по бунинским местам.

Очерк ему понравился, именитый писатель сам позвонил мне, начинающему, текст долго хвалил и вскоре напечатал. У нас установились добрые отношения. На его «Москвиче» мы дважды ездили по бунинским городам и весям, часто встречались в Воронеже, я бывал у него дома, и мы вели долгие разговоры о литературе не только классической, но и местной. Случалось всякое, временно уводящее в недоразумения, но уважение оставалось взаимным и ненарушаемым.

Через полвека после нашей первой встречи он позвонил мне и после двух-трех общих фраз, обычным неторопливо-раздельным голосом вдруг сказал: «Сердце болит за Россию. Знаю, и у вас болит: вы корневой, честный и глубокий писатель. Хочу вас попросить. Не оставляйте пера — пишите! Пишите: вы из последних — из настоящих. Это бы вам сказали и Бунин, и Чехов...» Я отшутился: «Они уже не скажут. Но мне достаточно и Юрия Даниловича Гончарова, его напутственного слова. Только если б вам оставить сказанное в записи, а так мои доброхоты-недруги едва ли поверят». Писатель ответил с какой-то захватывающей грустью: «Уходит мое последнее время. И ноги не идут, и руки дрожат. А вы — моложе, вы — пишите!»

СЛОВА И ХЛЕБА

Жизнь посвятив литературному слову (создание-издание российски принятой книжной серии «Отчий край», многообразное увековечение и в родной стороне, и в стране фамилий Снесарева, Бунина, Платонова, Кораблинова, Прасолова, Жигулина, Пескова, три десятка собственных книг и собрание сочинений), понимая,

что дело моей жизни согласуется с тезисом славянского философа Григория Сковороды о «сродстве» жизненного дела задаткам своим, я между тем нет-нет да и возвращаюсь к прежде часто томившему меня душевному настроению-чувствованию (возможность или предписанность разнодорожий?) и мысли об органически-верном или ложном жизненном пути.

...Когда-то я вспахивал родные поля, когда-то убирал на нивах созревшие хлеба.

РЕДКОЛЛЕГИЯ «ОТЧЕГО КРАЯ»

Пока еще есть библиотеки — государственные и частные. Пока еще хранятся в них и книги воронежского «Отчего края» — воронежской многотомной книжной серии, особенно: Боратынский, Веневитинов, Фет, Лесков, Бунин, Замятин, Платонов... Пока еще их читают.

Недавно мне ярко, как если бы вчера, вспомнилось одно из заседаний редколлегии «Отчего края». Присутствовали литераторы, объединяющее слово для которых: интересные. Владимир Александрович Кораблинов, Анатолий Михайлович Абрамов, Юрий Данилович Гончаров, Гавриил Николаевич Троепольский, Александра Федоровна Жигульская, Владимир Григорьевич Гордейчев, гости из Курска, Белгорода, Липецка, Тамбова. Каждого из присутствовавших я хорошо знал. Деловые вопросы порешались быстро, далее разговор о значении «Отчего края» в культурной жизни незаметно перекинулся на персоналии, дескать, кто значительнее: Боратынский или Фет? Бунин или Пришвин? Замятин или Платонов? Эдакое неожиданное занятие: обычно студентами определяемая табель о рангах, восходящий по значимости список больших имен. Я перевел разговор на другое: есть писатели так называемого второго-третьего ряда (Левитов Эртель, Недетовский) и хорошо, что им нашлось место в «Отчем крае». Все согласились. «А вот памятника никому из них и поныне нет», — заметил Гончаров. «Будут. Будут также и сидящим здесь», — как бы возразил Абрамов. Взоры некоторых присутствующих обратились на Кораблинова и Троепольского. Владимир Александрович, словно бы остужая добрые или не совсем добрые надежды на «бронзовое увековечение», глуховатым голосом произнес: «За свою жизнь я несколько раз видел, как памятники сбрасывали с пьедестала, а гипсовые бюсты крошили на черепки». Хотел, видно, что-то сказать Троепольский, но промолчал.

Что останется от их книг? Найдется ли на них свой «Отчий край»? Через столетие, даже намного раньше завершится жизнь каждого из присутствовавших на встрече — неповторимой и подобной миллионам подобных. Что останется от их эпохи, от их надежд, тревог, заблуждений, потребуются ли будущему хотя бы в малом числе их строки?!

УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВЫХ, ЛЮДИ И КНИГИ

Давно перед разными аудиториями и в местной периодике говорил я о веневитиновском доме в селе Новоживотинное как о музее не только возможном, но и необходимом. Тогда в главном усадебном здании размещалась сельская школа, и шумный ученический гомон, далекий от музейной степенности, отгонял мысль, что когда-то здесь будет музей. Теперь усадьба Веневитиновых — загородный филиал Воронежского областного литературного музея имени И.С. Никитина.

Возглавив областной литературный музей, среди других начинаний (благоустройство парка, усадебного партера, расчистка и озеленение, творческие встречи с жителями села и т.д.) я предложил сотрудникам веневитиновской усадьбы организовать постоянно действующую выставку-библиотечку «Военная страда». Но-

воживотинное в лето сорок второго — село на фронтовой линии, село пожарищ и углищ, и для его старожилов такая доступная музейная библиотечка, был уверен, не могла оказаться никчемной, зряшной. И действительно, у нее образовался свой преданный читатель. Музейному филиалу передал несколько сот военных изданий, а также книги, собранные отцом, который прошел с боями долгие версты и годы и понимал толк в книгах о войне, недаром еще с фронтовой поры среди любимых его чтений были «Василий Теркин» Александра Твардовского и «Одухотворенные люди» Андрея Платонова.

А впереди — то, что давно заботит меня, — «Воронежская литературная осень»: расширенные во времени и в именах Кольцовско-Никитинские дни литературы в статусе общероссийского праздника, Бунинский литературно-этнографический заповедник на территории Черноземного края, «Бунинская энциклопедия», «Веневитиновский энциклопедический словарь», «Платоновский энциклопедический словарь», «Славянский Дом», «Матица» — музей-библиотека книг, вышедших в Черноземье, а также где бы ни созданных полотен, симфоний, книг о выдающихся людях, событиях и памятниках Черноземного края.

УЛИЦЫ, БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ...

В Воронеже давно уже более тысячи улиц, а вот названия многих из них — наследство действительно уродливое. В послереволюционные времена на город, как и на всю страну, обрушилась эпидемия переименований. Со старинных улиц, площадей, парков как бы с кровью сдирали их исторические имена. А чуждоназванные — революционные, вожденосные, цифровые — звучали как кричащие свидетели смуты и подмен, атакуемого былого, убиваемой памяти. Не улица Девицкая, а 9 Января, не Большая Дворянская, а проспект Революции, Мясницкая обернулась улицей Володарского, Кадетский плац стал площадью Третьего Интернационала. Вместо начальных названий — случайные выскочки, вместо корневых фамилий — псевдонимы. И поныне мы ходим-спешим по улицам, названным или переназванным фамилиями, а то и псевдонимами обласканных большевистской властью террористов Желябова, Халтурина, Софьи Перовской, Каляева, «кристальных и пламенных»: Свердлова, Розалии Землячки, Урицкого... В конце восьмидесятых-начале девяностых говорил об этом в разных аудиториях, даже подготовил статью «Залетные улицы города», она осталась неопубликованной из-за практической малодейственности нормального — не «демократического» — слова в те «демократические» годы.

Писательскими фамилиями — Бунина, Кораблинова, Стукалина, Кубанева, Прасолова... — многие библиотеки в Воронеже названы по моим ходатайствам, да и многие мемориальные доски также — бунинская, суворинская, кораблиновская, кубаневская, прасоловская; на очереди давно принятая на комиссии по историко-культурному наследию веневитиновская, и не только... Доски разного достоинства, но в любом случае не бесполезные: незнающий или малознающий прохожий, скорей всего, остановится, прочитает, быть может, захочет узнать побольше про означенное имя.

А памятники? Близ давно изваянного в скорбной позе сидящего Никитина, в зеленом уголке на бывшей Мало-Садовой, открыт памятник Высоцкому — сильному, мужественному нашему современнику, голос которого на разрыв звучал по стране. Ни Высоцкий, ни Есенин не бывали в Воронеже, но установленные им памятники, естественно, радуют. Иные чувство и мысль — есть ли нравственная неуязвимость в увековечении славного имени только частным, а не общественным, не государственным образом? То есть через пристрастия меценатов-толсто-

сумов, разбогатевших известно как в мутном потоке перестройки. Хорошо, что — Есенин и Высоцкий. А то в обход городской комиссии по историко-культурному наследию, против воли жителей, тогдашней городской властью была вбита глыбистая мемориальная доска депутат-даме из Государственной Думы, на сутки заглянувшей в Воронеж по своим партийно-политическим, финансово-экономическим надобностям.

А нет в городе памятников уроженцам Воронежской земли, ее истинно великим сыновьям — Болховитинову, Афанасьеву, Снесареву.

Давно думаю о чести и культуре нашей памяти, о вещественном увековечении — подчас условном, приблизительном, стороннем. Разве не подумаешь и об этом: как бы Высоцкий воспринял все происходившее в горбачевское и особенно ельцинское «времечко» с краснобайством о хорошем и частой реальностью дурного?.. «Я не люблю холодного цинизма...»; «Я не люблю уверенности сытой...»; «Я ненавижу сплетни в виде версий...»; «Я не люблю, когда стреляют в спину...»

Предательски — в спину выстрелили и твоей стране. Так бывало со многими и не раз. Но от того, что «со многими и не раз», никак не легче.

СВЕТ ИЗЛУЧАВШИЕ

Среди самого памятного в жизни — встречи, беседы, душевная близость с Валерией Дмитриевной Пришвиной, Марией Александровной Платоновой, Евгенией Андреевной Снесаревой... Нет, они не отсвечивали светом, отраженным от их великих родных, — они сами излучали свет. Столько душевного богатства, тонкости чувствований и пониманий, проницательности, столько благородства, ума, добрых начал — сострадать и прощать! Нет, все-таки есть милости судьбы!

ИМЯ И РОДИНА

В раннем детском времени обычно знаешь разве что соседствующие имена родных и близких. А великих и славных (чаще далеких во времени и пространстве) узнаешь позже. Так что об одном из них, ставшем позже для меня дорогим, я тогда и слыхом не слыхивал: Андрей Платонович Климентов (Платонов); правда, отец, участник многомесячной обороны Севастополя, вскоре после войны прочитает мне платоновский рассказ «Одухотворенные люди» — именно о той обороне: от него я и узнаю, что писатель — мой земляк, что наши малые родины — в одной области, что воды его Воронежа впадают в мой Дон и далее текут неразделимо родственно.

Дымилась послевоенная засуха, сорок шестой год истлевал — словно после недавних фронтовых пожарищ. Ребенком я впервые очутился на прибрежных меловых кручах. Былинно натягиваясь в синей луке, внизу величаво шел Дон, и родина обнимала сердце — как высокая тайна; но и — как суровая явь: испятнанная окопами и землянками, изрезанная траншеями, тяжелыми следами вражьего нашествия; на оставленных в спешке снарядах и минах мои младосверстники долго еще будут раниться, а то и погибать. Широко расстилались поля — изнуренные, выжженные сушью бесхлебные нивы.

Я уже знал, что существует великий город — сказочная, всемирно и постоянно произносимая столица, что главные слова говорит она! Но в тот ранний час детства откуда было знать, что слова, как и люди, соседствуя, могут и тянуться, и отталкиваться друг от друга — любить и ненавидеть? Андрей Платонов жил в Москве и именно за написанные им и опубликованные в тот год слова на него обрушатся побивающие слова-каменья. За рассказ о возвращении с войны, в котором он честно молвил правду о драме победившего воина и народа, правду о моем

славянском селе, не только победителе, но и побежденном — физическим разореньем, душевным охолоданием, страшными, чуть не на каждый двор потерями мужчин-кормильцев; правду о моем сельчанине-фронтовике; правду о нас, детях и взрослых.

Ребенку мог выпасть случай встретиться с ним — живым, но выпало иначе: много лет спустя после его смерти, в скорбно-светлых чувствах стоять у его могилы, склоняясь над которой его вдова, муза его, Мария Александровна, разговаривала с ним как с живым, и словно был слышен единственно-неповторимый разговор двоих.

Но, ушедший, он уже разговаривал не только с родными. Но с Отечеством. И со всем миром. Разговаривал словами, боль, сила, красота которых в немалом объеме заключались в неизданных рукописях, — они еще ждали своего часа на родине.

О Родине своей, вобравшей трагическое многообразие прошлого, настоящего и будущего, он сказал так, как до него мало кто говорил; разумеется, о родине как части человечества, земли и вселенной. Ведь он много размышлял о бесконечности земных и небесных дорог, души и мира. А еще — о сиротстве души и мира, тоже, казалось бы, бесконечном, тягостно-угрюмом, не будь любви и милосердия. Но любовь и милосердие, даже гонимые, даже в лиховременья не покидают живущих, и он верил, что ими человечество сможет сохранить человеческий лик.

ДВОЕ ИЗ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Михаил Шолохов и Андрей Платонов. Несмотря на художественную, стилистическую разность (эпическая реальность Шолохова и часто фантасмагорическая реальность Платонова), оба в слове отобразили трагедийный путь России на ее жесточайших революционных изломах. Мировые либеральные заумники уже кои лета тщатся развести их по разным берегам великой реки, по враждебным сторонам; автор «Тихого Дона» им неудобен, даже ненавистен своей великостью, народностью, мужественной правдой. Им, во тепле живущим, помнить хотя бы, что платоновского сына Платона из ледяного заполярного лагеря вызволил именно Шолохов, а не их идейные деды-совоители, и что именно он отправлял вождю опасно-смелые письма о необузданных перегибах в крестьянском новоустроении. Но, как и во все века, мелкие мелкословят о крупном.

А столь разные «Тихий Дон» и «Чевенгур» — из вершин отечественной литературы.

СОЖАЛЕНИЕ И БЛАГОДАРЕНИЕ

Предопределенности жизни: какие бы явления (событие, имя, предмет, книга) не обозначались как важные в жизни человека или даже всего человечества, они не могут быть до конца поняты и оценены даже во внешних знаках оценки и признания. Тем более, когда они — ушедшие. И, разумеется, человек вправе не испытывать чувств сожаления, вины, ответственности перед давно былым. Но почему же испытываешь? Твое сожаление, твое чувство виноватости — если речь, разумеется, не о былых бедах, национальных и мировых — со стороны покажется праздным, не болевым, пустячным. И впрямь: испытывать сожаление, горечь-досаду за непрочитанные тобой страницы известных авторов?

А сколько их, безвестных, чьи мысли и образы растворились во вселенной? Разумеется, ты благодарен всем им, столь расширившим земные поля красоты, мысли, катарсиса; благодарен всем — известным и вовсе тебе неизвестным, а может, и никому не известным.